

Гумер Каримов

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Роман

Глава первая

— *Малышка, перестань вертеться, тебе давно уже пора спать.*

— *А я виновата, что не могу уснуть? Па, расскажи сказку?*

— *Ты же знаешь, я не мастер рассказывать сказки. Попроси лучше маму.*

— *Ну вот, а еще называется писатель... Сказку не может сочинить.*

Мать рассказала сказку. Дочь уснула. А я задумался. Почему, собственно, и нет? Говорят, Алан Милн, сочинил Винни Пуха для своего сына — Кристофера Робина. А чем хуже? Вернее, чем хуже моя дочь? Разве она не достойна сказки от

своего отца?

— Ма, представляешь, наш папа не знает ни одной сказки! Он, что, в школе не учился? Как же он смог стать писателем? Придется тебе, мама, выручать его.

— Однажды, давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве...

— О нет, — решительно запротестовал я на следующий вечер, когда жена пошла по пути наименьшего сопротивления, — никаких больше царств. Иди, дорогая, займись своими делами. Я сам расскажу дочке сказку. Слушай, ребёнок...

«Мне голос был. Он звал утешно».

Анна Ахматова

Был Голос, был. Виденье было: слегка дрожащая спираль из Океана мощно всплыла, взвинтясь в космическую даль. Там Некто говорил «за кадром», бросая медленно слова. Слегка кружилась голова, и страх, и радость были рядом. Мне Голос был,

мне Голос был. И Голос глухо говорил: «Планета голубых шаров — из извержений, бурь, ветров, и у Планеты нрав суров. Там просто невозможно жить, но мы решили, как нам быть. Ведь мы живем в планетных недрах на глубине ста тысяч метров, а там — покой и тишина. У нас на всех — одна страна. Мы не считаем лет и дней, мы не похожи на людей, от нашей участи печальной нас спас наш облик идеальный: по виду формой — круглый шар — развития природный дар! У нас — ни рук, ни ртов, ни глаз: нет ничего прозрачней нас, мы не похожи на людей, нет ничего, шаров синей, нет никого, шаров сильней.

Мы не нуждаемся в еде, нам ни к чему иметь детей, мы вечны — синие шары, мы бесконечны и стары. Мы одинаково умны, нам власть и деньги не нужны. Для нас и музыки — не важны. Как в звуках музыки — вы шумны, в страстях поэзии — безумны, а в живописи — так бездумны...

Для нас искусство ваше чуждо, да и вообще, нам нет в нем нужды:

Весь смысл — в Гармонии

Покоя, эмоции для нас — пустое.

*Лишь высший Интеллекта
дух, — в себя нацелен весь наш слух.*

*И отвлекаться на другое — все
это — суета, мирское.*

*Как связаны? — секрета нет:
похожа связь на «Интернет».*

*У нас не только плоть
прозрачна, прозрачны мысли и дела,
нет индивидов, а иначе, борьба идей
бы расцвела. И появилась бы крамола,
она бы привела к расколу... Такое
допустить нельзя. Мы не бунтуем и
не ропщем, мы — даже выше, чем
друзья, мы — единичны только в
общем.*

*А Прошлое? Оно мешает, мы
каждый год его стираем, как вы
стираете с дискет, ее компьютерную
память... В Истории нужды нам нет,*

*Что Время — если Вечность с
нами?*

*— Но в чем ваш смысл
бытия? — Спросил, обескуражен, я.*

*— Про смысл вопросы не
нужны, мы в Вечность все
погружены.*

*— Но ваше бытие — ей-ей, как
груда неживых камней?*

Молчал он долго, голос свыше,

Вопрос, быть может, не расслышал?

*Но вот услышал я в ответ:
Ответа нет. Ответа нет.*

*— Но для чего спиралью этой
на нашу вторглись вы планету?*

*— Пришел на Землю новый век,
не совершенен человек. Решили мы
Земле помочь пороки ваши
превозмочь. Открыть вам
совершенства путь,*

*Планета ваша станет пусть,
как наша — лучшей из миров:
Планетой розовых шаров.*

*Был Голос, был. Было виденье...
Исчезло, к счастью, наваждение.*

ТИХИЙ ОЗА

Он ничего не ощущал. Двадцать пять лет нездешней жизни с напряженным ритмом гигантских строек, ориентированных в «светлое» будущее, походя перемалывавших вместе с миллионами тонн грунта и железа тысячи судеб, где человеческая самоотверженность и глупость сливались в коктейль хаоса и «бестолковки», увели его так далеко от уральской глуши, что родной городишко показался застывшим уголком, неподвластным времени. Картинки милой старины:

горбатенькие улочки, церквушки на холмистых берегах и прочий поэтический вздор не тронули души Германа, не потревожили сентиментальных струн юношеских воспоминаний. Видно, огрубевшая на сибирском ветру кожа оказалась слишком толста, чтобы под ней мог дрогнуть хоть один мускул.

До вылета самолета оставалось еще часа четыре... Стекланный аквариум показавшийся издали рестораном, оказался художественным салоном с выставкой работ местных художников. Герман бродил по пустым залам, глазел на утрированно-суровые и невообразимо выпачканные лица нефтедобытчиков, на буровые вышки на фоне желтых, синих, черных, красных горизонтов, выискивая в этом псевдоромантическом однообразии хоть что-нибудь живое, настоящее. Когда попадалось, стоял подолгу, всматривался. И вдруг...

Он едва не пропустил ее. Прошел мимо. Но потом вернулся. В уголке — маленькая такая картиночка, скромный пейзажик — нефтебаки у реки.

— Ну и что? — спросил себя и тут же прочел фамилию автора. — Вот оно: Пруль!

Они жили в одном дворе, учились в одном классе. Герман стоял перед картиной, и память, оглохшая за долгие годы, медленно возвращала его

к тому островку послевоенного времени, какой найдется у каждого из его сверстников. Он вдруг отчетливо представил большой старый двор с единственным каменным двухэтажным домом, предводительствовавшим над кучкой длинных деревянных бараков. У почти ушедшего в землю окошка одного из них перед крохотным палисадником всегда сиживал долгими вечерами мальчик Оза.

Этот робкий тихоня редко водился с ними: дикие игры дворовых ребят были ему не по силам. И эта его отстраненность делала детвору совершенно равнодушной и даже жестокой по отношению к нему. Вот он возвращается с одинокой прогулки по парку, где валялся в траве, наблюдая жизнь насекомых. В руке у Озы спичечный коробок с пойманным жучком. Он весел, скачет козленком, вбегает во двор. А там — толпа «хулиганов». Оза сразу словно потухает, останавливается в нерешительности, затем мелкими шажками, опасливо озираясь, идет к своему дому.

— Ой ты, моя Озочка, нежная розочка, — перед Озой вырастает длинный Генка, — что у тебя в коробочке? Дай.

Генка протягивает руку.

— Пусти, — тихо всхлипывает Оза, но коробочку отдает.

Генка отпускает жучка, ломает коробочку.

В это время Игорек, Генкин подхалим, незаметно заходит за Озу сзади и резко сдергивает с него коротенькие штанишки. Мы гогочем во все горло, а Оза задыхается, глотая слезы, натягивает штаны и, получив от Генки пинка под зад, в страхе бежит к дому.

— Нежная розочка! — орут ребята ему вслед.

Почему-то Оза вспомнился Герману всегда рисующим. Чаще — с альбомом у открытого окна деревянного барака с палисадом, где рос кустарник с желтыми цветами. Было нечто буколическое в этом тихом Озе с карандашом в руке.

Чувствуя себя в безопасности, Оза иногда позволял себе наивную месть: «Гендоз-паровоз!», — тоненьким голоском кричит он из окна.

— Заткнись, недоношенный. — Генка берет обломок кирпича. — Оза — мимоза!

Окно захлопывается.

Позже, в школе, Оза все так же одинок, тих и робок. Редко поднимет голову над партой. Его не видно, не слышно. Рисует что-нибудь в своей тетрадке, и сам не видит и не слышит ничего. Живет в своем измерении. Озу окликает учитель, тот не сразу поднимает голову. Учитель негодует, сердится, учитель, наконец, жалуется родителям. Пруль старший имел свои представления о воспитании. Мальчик часто ходил битым. Но это не

помогало. Оза продолжал плохо учиться, не слушал урок, уходил в себя, рисовать.

Первая учительница Софья Васильевна Озу так и не сумела понять. Пережившая войну, мужественная, сильная женщина, наверное, не любила слабаков. «Этот странный мальчик» — так она называла его.

Позже, когда Оза и Герман сблизились, Герман узнал, как страдал тихоня Оза, закомплексованный с детства от мальчишеских насмешек. Невольное одиночество, слезы обиды, тихая зависть — все это уводило Озу к нешумным занятиям, созерцательности. Наблюдательный, жадный до жизни, но, по сути лишенный общения, он часами водил по бумаге карандашом или кистью.

В классе пятом Герман неожиданно для себя подружился с Озой. Он и сам не понимал, отчего стал покровителем Озы, с решимостью взялся опекать этого слабака. И сразу во дворе и в школе Озу стали обижать меньше. Герман мог постоять за мальчика: драки, синяки были для него привычным делом. И Оза ожил. Всей душой потянулся к своему защитнику. Верность его не знала пределов, и он ни на минуту не расставался с Германом.

Генка был на год старше Германа. Они дружили. Объединяли их голуби. Голубятни, прилаженные к их дровникам-сараям, считались

едва ли не лучшими в округе. Летом, вплоть до холодов, сараи превращались в жилища, и Герка по гроб жизни не забудет свои ночовки под тихое воркование голубей. Как-то в Генкину голубятню пробрался кот и утащил любимого голубя. Генка поймал кота за сараем, когда тот весь в пуху доедал голубя. Генка подвесил кота в сарае и стал избивать его поленом. Несчастному коту однако удалось сорваться с веревки и бежать из сарая.

— Что ж ты дверь оставил открытой?! — заорал Генка. — Убью его, гада!

Он выбежал из сарая. Герка — за ним. У дверей дома на лавочке сидел Оза и гладил того самого злополучного кота.

— Так это твой кот, недоношенный? — заорал Генка и бросился к Озе.

Кот юркнул в дом.

— Мой, — тихо ответил тот.

Генка стукнул его не слишком сильно, но Оза упал на землю.

— Не трогай его, — Герман схватил Генку за плечо.

— Отстань! Тоже мне, защитник!

— Не трогай его, — повторил Герман и его тут же качнуло в сторону после сильного удара.

Потом они, сцепившись, покатались по траве. Генка был сильнее. Оседлав Германа, он пару раз ударил его кулаком в лицо. Герман почувствовал

теплую кровь во рту.

— Еще хочешь? — Генка встал.

— Не дам больше Озу трогать, — выдавил из себя Герман и, сплюнув кровь, пошел прочь.

Вечером Генка вошел к Герману в сарай. Герман лежал на нарах, подпирая взглядом горбыльный настил крыши. Оза сидел у поленницы, держа на коленях своего кота. Увидев Генку, он сжался в ожидании новых неприятностей. Тот уселся на поленницу, щурясь после солнечного света в полусумраке сарая. Герка отвернулся к стенке.

— Болит? Нечего было лезть, — в голосе Генки явно проступали виноватые нотки.

Они помолчали.

— Гена, — нарушил молчание Оза, — я с тобой расплачусь за голубя. Копилку разобью и расплачусь.

— Нужны мне твои деньги! — опустил Генка голову. — Птицу все равно не воротишь.

— купишь нового голубя, — сказал Оза. — Такого же красавца.

— Такого не купишь... — голос Генки дрогнул, глаза заморгали, он махнул рукой и выбежал из сарая.

Детские слезы, всегда готовые брызнуть из глаз... На долю долгой взрослой жизни не приходится и тысячной доли слез детства.

— Гера, — Оза потряс Германа за плечо. — Ты сможешь мне голубя купить для Генки? Мы его купим и незаметно подсадим. А он подумает, что его голуби чужого привели.

Оза тихо засмеялся, довольный собственной идеей. Герман кивнул и вдруг спросил:

— Оз, ты всех боишься?

— Боюсь! — тяжело вздохнул тот. И, помолчав, грустно добавил: — Я не сильный.

— А ты это никому не показывай. Вот задразнится кто-нибудь, а ты подойди и врежь.

— А как он врежет?

— Ну и что? Подумаешь, нос расквасят. До свадьбы заживет! Хочешь, я тебя приемчиком обучу?

— Хочу, — нерешительно ответил Оза. — Но... я отца боюсь. Вот получу тройку, он опять меня бить будет.

— Больно?

— Я не боли боюсь, мне маму жалко. Она всегда заступает... Тогда он на нее...

— Он злой?

— Не-е-е-т! — решительно замотал головой Оза. — Только когда выпьет... А пьет — каждый день.

В воскресенье они с Озой, сложив капиталы, купили на толкучке чудесного голубя для Генки. Оза засунул голубка за пазуху и всю обратную

дорогу пел. Потом они долго ждали, когда Генка уйдет из сарая. Но Генка не выходил... Генка был счастлив, когда увидел у себя нового голубка, и Герман все ему рассказал. Генка отреагировал по-своему.

Мальчишки играли во дворе в казаков-разбойников, и когда из дома вышел Оза, Генка позвал его:

— Знаешь, Озик, ты — хороший парень. Дай лапу!

Потерявшись, Оза неловко пожал протянутую руку вчерашнего врага.

— Если кто-нибудь из вас хоть пальцем тронет его, будет иметь дело со мной. Ясно?

Через месяц после того случая пьяный Пруль-старший жестоко избил сына и, повредив ему спинной мозг. Мальчишку отвезли в больницу, он выжил, но ноги отнялись. Отца посадили или он ушел из семьи, но во дворе его больше не видели.

Поначалу, когда Озу выписали из больницы, к нему ходил чуть ли не весь класс. Готовили уроки, рассказывали о новостях. Но постепенно этот поток «тимуровцев» схлынул. И только Герман остался с Озой. Они по-настоящему привязались друг к другу. После школы Герка шел к Озе. Они вместе готовили уроки, что-нибудь мастерили, рисовали, читали. Герману приходилось переносить приятеля

с кровати на диван или в коляску. Он был тогда удивительно легким. Иногда забегал Генка: он искренне жалел Озу, но не умел с ним разговаривать. Оза как будто даже забыл о болезни. Но, взрослея, снова стал тяжело переживать свой недуг. Потерял интерес к рисованию, сделался молчаливым, замкнутым. Однажды Герман сказал ему:

— Если ты хочешь плакаться, бог с тобой, плачь! Но я привык считать тебя своим другом, а не плаксой. Не ищи во мне сострадания.

— Ну и уходи, не заплачу, — зло закричал Оза. — Ты полежи с мое. Покрутись без сна по ночам. К черту! Не хочу! Лучше подохнуть!

— Что ты городишь, дурак? — заорал Герман в ответ. — В тебе прорва таланта! Мне бы такие способности. Тебе надо учиться! Станешь настоящим художником, понимаешь?!

И хватит тебе вариться в собственном соку. Где твои рисунки?

ПАВЛОВСКИЕ АЛЛЕИ

Однажды холодной осенью, свернув сразу за Валдаем с федеральной дороги Москва-Санкт-Петербург к маленькой частной гостинице, подсказанной на бензоколонке, подъехала заляпанная грязью белая «Волга». Из

машины вышел стройный хорошо одетый седовласый мужчина лет пятидесяти пяти с кейсом в руке. Подтянутая фигура, облаченная в немного старомодное, но отлично на нём сидящее кожаное пальто, выдавала строевую выправку то ли бывшего спортсмена, то ли офицера. Взойдя на ступени, он толкнул входную дверь и, переступив порог, сразу оказался в просторном уютном холле. Лицо и руки вошедшего приятно окутало теплом.

Окинув взором холл, приезжий наряду со стандартной обстановкой: мягкой мебелью, низкими столиками и со вкусом выполненными эстампами на стенах, — увидел в левом углу необычное — золотистый образ Спасителя...

Вспомнил начало «Тёмных аллей» своего любимого Бунина, его героя Николая Алексеевича, в горнице.

— Похожая ситуация, — усмехнулся про себя Юфим, не представляя ещё, насколько схожей окажется она в дальнейшем...

Захотелось раздеться и остаться здесь надолго... Он поставил на пол свой кейс, снял и повесил пальто, шумно вдохнул доносящийся откуда-то из глубин гостиницы сладкий запах сдобной выпечки... В холле никого не было.

— Есть кто-нибудь? — громко позвал мужчина, опускаясь на мягкий диван.

Тотчас в холл вошла красивая женщина,

скорее шатенка, чем брюнетка, с азиатской статью, с прямым и строгим, но, вместе с тем, приветливым взглядом карих глаз. Легкая на ногу, но с полноватой для её комплекции грудью, чётко обозначенной под кофтой с глубоким вырезом, и довольно крупными бёдрами, обтянутыми длинной прямой чёрной юбкой с высоким боковым разрезом.

— Добрый день, — сказала она. — Хотите остановиться у нас или просто пообедать?

Недолгим, но оценивающим взглядом охватив её статную фигуру, Юфим сделал неопределённый жест:

— Как получится... Пока можно позавтракать.

— Тогда пожалуйста за мной, — пригласила она и пошла плавно, не оглядываясь.

Что-то в её облике и походке приезжему показалось знакомым, но, идя за ней, он подумал, что всегда Валдайские места проезжал не останавливаясь, и никаких знакомых у него тут быть не могло. Пройдя по узкому коридору из холла несколько шагов, свернули направо и оказались в небольшом по ресторанному убранном пустом зале на восемь столиков.

— Садитесь, где вам угодно, — сказала она и удалилась за стойку.

Взяв меню, вернулась и подала ему коленкоровую зеленую книжицу.

Он не спеша снял пиджак и, повесив его на спинку стула, сел у окна. Глянул на свою забрызганную грязью «Волгу» и ему ужасно расхотелось куда-то ехать...

— Ваше заведение? — спросил приезжий, открывая меню.

— Моё, — она колдовала за стойкой.

— И давно открылись?

— Да, уж порядком.

— А что супруг? В деле?

— Такого не держим.

— Вот как? При таких-то внешних данных?

Вдовствуете?

— Выбрали что-нибудь? — видно вопрос показался ей неуместным.

— Курить-то можно у вас?

— Да уж курите.

Хозяйка пристально поглядывала на гостя, то опуская глаза, то вновь вскидывая их, слегка прищурившись.

— Хорошо у вас. И чисто, и приятно.

— Спасибо, Юфим Гурэмович. Ваше воспитание.

Он резко поднял голову:

— Надя? Ты! — покраснев, выпалил он растерянно.

«Господи! — мгновенно успело мелькнуть у него в голове. — Это же чистый Бунин».

— Я знала, что такое когда-нибудь случится, Юфим Гурэмович, — сказала она.

— О, мой бог! — он вскочил. — Невероятно. Столько лет... Кто бы мог... Поди, лет... — он задумался. — А сколько, Надя, мы не виделись?

— Тридцать. Мне уж сорок восемь, а вам, думаю, за пятьдесят?

— Да-да, за пятьдесят... Поразительно, однако, Боже! Невероятно!

— Что невероятного?

— Да как же? Такая встреча и вообще...

Утомление дорогой мгновенно испарилось, он быстро заходил по комнате, бросая на неё отчаянные взгляды. Наконец остановился у стойки и, сжав руку женщины, заговорил:

— Я ведь с тех пор ничего и не слышал о тебе... Как ты? Почему уехала из Питера?

— Уехала вскоре после вас... Не могла там оставаться...

— А куда?

— Быстро не рассказать, Юфим Гурэмович...

— И замуж не вышла?

— Не вышла.

— Ах, почему?

— Не могла. Не хотела...

— Отчего не могла? Отчего не хотела?

— Не надо, Юфим Гурэмович... Всё вы знаете...

Он вновь покраснел и, несмотря на тепло в помещении, почувствовал резь в глазах и озноб... Нахмурившись, отвернулся и вновь зашагал между столиками.

— Всё суета, мой друг, — забормотал он. — Всё решительно... Прекрасные чувства, возвышенные порывы... Всё проходит! Молодость? Тем более... Ах, всё тлен... Оборачивается обыденностью, пошлостью... Или просто проходит с годами... Как это у Екклезиаста: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом».

— Бунин, — насмешливо сказала она. — Книгу Иова цитирует. Наизусть помню его рассказ. — Всё там верно сказано. Кому как Бог даст, Юфим Гурэмович, — добавила она, сделав паузу. — Молодость проходит — то правда. А вот любовь... Другое.

Он остановился, повернулся к ней, смущённо проговорив:

— Но ведь не могла же ты, Надюша...

— Могла! Все эти годы думала о вас... Понимала, что глупо, что и не вспомните обо мне, что для вас я не значила ничего... Что поделать, не получилось забыть... Толку укорять вас теперь? Поздно. Но как жестоко вы поступили со мной, бросив, словно куклу надоевшую. Очень было обидно... А ведь так красиво все было сначала, так чудно! Как мы гуляли подолгу в безлюдном

Павловском парке и там, по Берёзовой аллее, вдоль пруда от Чугунных ворот... Вы всё вспоминали «Темные аллеи»...

Вспыхнувшие глаза Надюши быстро погасли и недобро исподлобья глянули на него. Сжавшись под этим взглядом, он все же сказал горячо:

— Ах, как прекрасна была ты! Помнишь ли ты, Надя, помнишь?

— Да... Я всё помню. И это вам я дарила свою любовь. Такое не забыть.

Она принесла и поставила на стол у окна его заказ. Он вернулся к столу, грузно сел, резко постарев, упрямо промолвил с тяжёлым вздохом:

— А! Всё забывается, всё проходит...

— Проходит, но не забывается.

— Ах, оставь! Оставь... — достав платок, проведя им, отворачиваясь, по глазам, спросил поспешно: — А ты простила меня?

Она пошла было снова за стойку, но обернулась на последние слова. Молча отрицательно покачала головой.

— Ешьте. Кофе я вам принесу позже.

Раздался мелодичный звон колокольчика, негромко стукнула входная дверь. Надя вышла и вскоре вернулась с посетителями — молодой парой. Не успела у них принять заказ, вошли ещё четверо. Юфим взглянул на часы — время обеда.

Подумал опустошённо, допивая кофе:

«Однако, правда: никогда не был счастлив. Как знать, милая Надя, может быть, в тебе я потерял единственное своё счастье».

Едва взглянув на счёт, вынул бумажник, положил деньги на блюдце. Подойдя к Наде, поцеловал ей руку и вышел.

Отъезжая, думал о том, как было бы здорово вернуться сейчас и упасть перед этой женщиной на колени...

Выруливая на главную трассу, он вдруг почувствовал, как внезапно онемели ноги и всё его тело охватила холодная и липкая дрожь и будто клещами сдавило горло. Последнее, что он ощутил, — это сильнейший удар тяжёлого грузовика в водительскую дверцу своего автомобиля.

Глава вторая

Это случилось так давно, что люди уже забыли, где на Земле была Атлантида? И была ли она вообще? — люди сомневаются, вот, как давно это было. В нашем рассказе Атлантида обязательно появится, но не сразу. Прежде мы расскажем о том, что произошло совсем недавно,

буквально в наши дни. Так что вам надо набраться терпения и выслушать наш рассказ от начала и до конца. Вот что произошло этим летом под Петербургом, слушайте.

Вдоль Павловского парка, что под Петербургом, бежал по дорожке мальчишка лет десяти, играя в футбол пустой банкой из-под пепси-колы. И где-то у Чугунных ворот так «запуднул» банку ловкой подсечкой, что она улетела за забор, в кусты. И надо же, какой не ленивый мальчик оказался: полез через забор за своей баночкой. Кое-кто может подумать, что он был просто жадный, но мы думаем — вряд ли. Во-первых, таких баночек валяется — хоть пруд пруди, а, во-вторых, мы довольно хорошо знаем этого мальчишку и ничего такого, в смысле жадности, в нем не замечали. Почему полез? А бог его знает? Душа ребенка — потемки, это я вам точно говорю. Словом, полез и все тут. Долго ее искал, ведь кусты в парке — что твои джунгли — густо заросшие. Однако нашел. Узрел как-то. Теперь надо было ее достать: раздвинул кусты, поцарапался малость и протянул

руку... Но что это?

«У ТЕБЯ ЕСТЬ ГЛАЗ»

Держа под мышкой завернутые в газету рисунки, Герман вошел в художественную школу. Когда он разложил рисунки перед преподавателем — молодой женщиной, та задумчиво сказала:

— Глаз есть, но пропорции, линии... — Она поморщилась, покачала головой.

— Хочешь учиться?

— Это не мои рисунки.

Герман сбивчиво рассказал о своем друге.

— Мы должны получить согласие его родителей. — Преподавательница взяла лист бумаги и что-то написала. — Отдашь эту записку его маме.

Оза встретил Германа своей обычной тихой улыбкой. В руках у него была книга, которую тот ему оставил: «Луна и грош» Сомерсета Моэма.

— Ты правду сказал, что у меня есть талант?

— Это не я сказал.

— А кто?

— Одна художница. Она сказала, что у тебя есть глаз.

— Как это, глаз? — засмеялся Оза.

— Глаз художника. Тебе надо учиться...

Он вышел из салона и увидел свой родной город таким, каким знал прежде. «Я должен его увидеть»

...С того дня для Озы началась новая жизнь. И дело не только в том, что рисование стало целью и смыслом его жизни. Просто оно раскрыло перед ним дверь в жизнь, раздвинув тесные стены комнаты. Оза жадно учился, много читал, часто бывал на улице теперь с неизменным мольбертом и альбомом. Отныне не Герман Озу, а Оза Германа увлекал собственной жаждой познания. Он буквально проглатывал все приносимые ему книги и требовал новых.

— Ты прочел «Братьев Карамазовых»? — начинал он, к примеру, когда приятель не спеша катил его по парку на коляске.

— Угу.

— А «Записки из мертвого дома»?

— Угу.

— Что ты все «угу» да «угу», — сердился Оза. — Больше сказать нечего? Ты любишь Достоевского?

— Разве его можно любить? Пушкина можно, Тютчева... А Достоевского?!

— Как он людей знал! Не могу его спокойно

читать. За человека обидно, сил нет! Тебе не хотелось отшвырнуть книгу?

— Но он же буржуазное общество описывает. Прогнившее.

— Ты прямо как по учебнику шпаришь, — засмеялся Оза. — Прогнившее... Неужели думаешь, что Достоевский это сознавал? Вот у Бунина, слушай, что сказано. — Оза открывает книгу, находит нужное место, читает: — «Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений». — Верно сказано! — жарко шепчет Оза, закрывая книгу. — Спины, калоши... Вот что надо. И в живописи тоже.

Друзья молчат некоторое время.

— Почему Бунин на Родину не вернулся? — задумчиво спрашивает Оза. — Разве можно быть счастливым без Родины?

— Бунин — осколок. Он ведь не знал России после революции. Боялся ее.

— Думаешь, зря боялся? — Оза пристально взглянул на меня. — А если бы прихлопнули?

— Нобелевского лауреата?..

Теперь Герман удивлялся, вспоминая эти взрослые разговоры. Ведь они тогда были совсем еще зелеными...

— Ты счастлив? — спрашивает Оза.

— Не знаю. Что такое счастье?

— Как тебе объяснить... Вот я, думаю, счастлив. У меня есть друг, мама, живопись. Книжки ты мне приносишь... Что еще нужно для счастья? Ноги бы, конечно, не помешали бы...

За двадцать пять лет ничего не изменилось на улице его детства. Герман попросил таксиста подождать. Вошел во двор. Некогда огромный, теперь он показался мне маленьким, невзрачным. За выломанными решетками садика копошились дети.

Он позвонил в дверь. Открыла незнакомая женщина.

— Пруль? Нет, не знаю. Когда мы сюда въехали, здесь жили другие.

Он добросовестно обошел квартиры друзей детства. Ему открывали незнакомые люди. «Хорошо еще, что такси не отпустил», — подумал Герман.

На одной из улиц мелькнул киоск «Горсправки». Он вышел из машины...

Оза поступил в художественное училище. Встречи Германа с Озой стали редкими. Но теперь это для Озы было не смертельно. Появились новые друзья по учебе, иные интересы. Однако они всегда были рады встрече. Однажды, классе в десятом, Герман пришел к Озе не один.

— Познакомься, это Люся.

Оза смутился, покраснел и стал извиняться за неубранную комнату.

— Можно посмотреть ваши картины? — попросила она. — Знаете, я впервые в жизни вижу живого художника.

Оза окончательно потерялся, лихорадочно стал протирать стекла очков.

— Да мне не жалко, — пробормотал он наконец, явно польщенный. — Только ничего интересного, уверяю вас.

Люся, милая девушка с томными глазами с роскошной косой. Она приходила к Герману на свидание со своей подружкой — маленькой серой мышкой... И они втроём ходили в кино на дневные сеансы и ели мороженое. Так продолжалось довольно долго. Что-то гнетуще неловкое было в их отношениях. Конечно, они нравились друг другу, но робели и словно чего-то боялись. Но однажды в темном кинозале Герман поцеловал

Люсю. Ты отшатнулась от неожиданности, но потом вдруг схватила его руку и сжала её. Потом нежно поцеловала его. Они вышли из кинотеатра смущённые и растерянные, но уже другие. И в следующий раз Люся пришла на свидание без подруги...

Телефон, что дали в «Горсправке», долго не отвечал. Герман уже хотел повесить трубку, когда знакомый голос ответил: «Слушаю».

— Люся? — выдохнул Герман, потом сбитый с толку, попросил к аппарату Озу.

— А кто его спрашивает? — после долгого молчания неуверенно спросила она.

— Его друг.

— Герман, это ты? — вновь спросила она изменившимся голосом.

— Здравствуй, Люся.

На другом конце провода замолчали. Он вдруг понял: она плачет.

— Где Оза? У меня скоро самолет.

— Он умер. Ты должен приехать. Запиши адрес.

Она ждала у подъезда. Долго и сосредоточенно разглядывала Германа...

— Входи.

Он ходил по мастерской Озы, подолгу останавливался возле некоторых работ и слушал

Люсю.

— Позавчера сорок дней было, как умерла его мать. Помнишь ее? Тихая была старушка.

Помнил ли он тетю Олю? В его воображении возник образ немногословной, незаметной, рано состарившейся женщины, работавшей в больнице санитаркой. Она вспомнилась ему в платке, в темных одеждах, идущей в церковь. Муж — пьяница, сын — инвалид. Пожизненная материнская каторга.

— Умерла, как и жила, незаметно. Одна жила. Не соглашалась к нам переезжать. Помешать боялась. Все в церковь ходила, молилась за нас.

Герман стоял перед портретом его матери. Почти фотографическое сходство. Но все же не она. В жизни она была не такой торжественной, даже напыщенной.

— Это не она. — наконец произнес Герман
Люся не ответила. Будто не расслышала.

— Оза в последние годы много пил. Это его и погубило.

Он переходил от полотна к полотну, и с каждой следующей картиной во мне росло болезненное чувство неловкости. Будто ему приходилось быть невольным свидетелем чьей-то бестактности или глупости. С растущим раздражением он отчетливо сознавал никчемность той живописи, что видел сейчас. Бездарность

торжествующе смотрела на него со стен мастерской. И за ее циничной усмешкой он болью ощущал трагедию друга детства.

— Здесь, очевидно, не лучшие его работы? — спросил он.

— Что, бездарны?

Он вздрогнул. Она сказала это жестко, безжалостно, и вместе с тем как-то буднично.

— Его лучшие работы — на стенах кабинетов партработников и героев соцтруда, — с ироничной усмешкой добавила Люся. — В последнее время он копировал вождей. Работал на заказ.

— И слишком поздно понял, что это не живопись?

— Если понял вообще, — ответила она.

— Оза был умным человеком. Не думаю, что... — Он замолчал.

Люся вздохнула и вышла из мастерской.

— Тут дело не в его уме, — говорила она из другой комнаты, что-то открывая, звеня посудой. — Как бы это поточнее сказать... Его всю жизнь обманывали.

— Кто?

— Все. — Она снова вошла в мастерскую, взяла сигарету. — Все вы. Он жил в плену самообмана. Его хвалили. Давали заказы. И он привык. Конечно, в глубине души он сомневался, но ведь успех, слава затягивают. И потом,

обеспеченная жизнь, всеобщее внимание. Думать о степени таланта? Зачем? Тут все ведь вполне профессионально. Не придерешься... Какая уж тут самооценка, если тебя все вокруг хвалят? В конце-концов не хочешь, а поверишь...

Герман поймал себя на мысли, что Люся говорит так, будто текст заранее заучен ею.

Отвернувшись от картин он посмотрел на Люсю. Он видел ее впервые за двадцать пять лет. Сколько ему было тогда? Семнадцать? Он окончил школу, она училась в девятом, длинноногая девочка с упругой косой, летящая по аллеям парка в пальто с пелеринкой. Какой взрослой она тогда казалась ему! Как он был счастлив, подхватывал на лету ее портфель, каким недостойным ее мальчишкой казался себе рядом с ней! Теперь перед ним стояла сороколетняя вдова: седые пряди в смоляных волосах, лицо, не утратившее былой привлекательности...

— Открыть шампанское? У меня с собой, — спросил он

— Лучше коньяку, — устало улыбнулась она. — Вся его жизнь — жизнь жертвенного ягненка. Да, он стал жертвой всеобщей жалости. Его всегда жалели. Друзья, коллеги, и я тоже. Никто не решался сказать ему правду. — Люся залпом выпила. — Зачем обижать инвалида?

— Позволь, — прервал ее Герман, — о какой

жалости ты говоришь? Оза ненавидел тех, в ком замечал жалость к себе. Я потому и оставался ему другом, что старался быть с ним на равных.

— Ошибаешься. Ты первый и пожалел его. А по существу предал... Не сердись. Пожалел или предал, какая разница? — Она была совершенно спокойна. — В случае с Озой это одно и то же. А я все эти годы была рядом с ним, так что знаю, что говорю.

Она говорила без раздражения. Он вдруг вспомнил прежнюю Люсю и поймал себя на мысли: «Какую женщину я потерял!» Это он сломал их любовь. Ревновал? Обижался? Но ведь он сам сблизил их, так сказать, бросил друг другу в объятия. Он вдруг остро вспомнил, как однажды вечером пришел к Озе, и застал ее там. Ну и что с того? Разве она не имела право зайти к другу? А он, как дурак, убежал тогда от них. Это было как ожог. Больше он не вернулся.

Герману захотелось спросить о том вечере Люсю, но он лишь молча взял ее руку в свою. И она будто поняла, что он хотел спросить...

— Ты предал его и меня, — тихо сказала она, оставив свою руку в его ладони. — Его, потому что пожалел, меня — потому что пожертвовал мной во имя этой жалости. В тот вечер он попросил меня прийти к нему без тебя. Это правда. И признался мне в любви. Но это ничего не значило. Я любила

только тебя.

— А я любил вас обоих. У меня не было выбора.

— Не перебивай меня — Ее руки дрожали, когда она прикуривала. — Я сказала ему тогда, что люблю другого. Но ты исчез... И так, сначала его пожалел ты, потом я. Я вышла за него без любви. Дружба, привязанность, злость на тебя... Уязвленное самолюбие. Начало великого обмана... Ты помнишь, каким он был? Чистым. «Я не умею», — как часто он говорил это. А я в ответ: «Ты сам не понимаешь, как ты талантлив!» Ты часто смотришь на часы, торопишься?

— У меня скоро самолет. Я закажу такси.

— Ты разве приехал не к нам? — Боль на мгновение вспыхнула в ее глазах, и они потухли. — Ты вспоминал о нас?

Что он мог ей ответить?

— У меня, Люся, было две жизни, как я теперь ясно осознаю. Одна — это Ленинград, карьера, и прочее... Другая крайне бедна событиями. Так называемая частная жизнь карьериста: ничего примечательного, почти нет друзей, близких, и все женщины случайны.

— У тебя семья?

— Извини, я все же закажу такси.

В трубке звучали короткие гудки. Он упорно набирал нужный номер. Стоило ли рассказывать

этой женщине, ждущей теперь от него невозможного, о смерти жены? Наконец ему ответили, и он назвал нужный адрес.

— От чего он умер?

— Рак. Мучился очень... А все-таки жаль, что ты ни разу не захотел нас увидеть. Мы ведь тебя ждали, часто о тебе говорили, особенно в последние месяцы, когда он уже знал...

Ее голос дрогнул. Она встала и вышла из комнаты.

— Люся! — он настиг ее у панорамного окна мастерской. Обнял ее плечи. — Хочешь, я останусь? Ведь это еще не вся жизнь. Или давай вместе уедем. Ко мне, в Питер. Начнем все заново.

Она повернулась к нему. Сухие глаза смотрели прямо. Она вдруг показалась ему бесконечно чужой.

— Ты меня не так понял, Гера. — Хозяйка мастерской поправила его галстук, погладила руками лацканы пиджака. — Решил, что моя жизнь не удалась? Да, Оза был бездарным ремесленником. Это правда, но не вся. У него был дар. Дар быть человеком. Бездарный художник был хорошим человеком, и я была счастлива с ним. У меня ведь уже внуки.

Уже открывая дверь подкатившего такси, он вдруг оглянулся и посмотрел на окно мастерской. Нет, у окна никто не стоял.

ХОЛОДНЫЙ ДЕКАБРЬ 53 ГОДА

Видавшая виды, тарахтящая «трёхтонка» весело вкатила во двор и, притянув на лобовое стекло лучи скупого декабрьского солнца, лихо тормознула у крыльца длинного барака. Хлопнула дверка, запел снег под валенками, затопавшими тотчас по старой скрипучей лестнице и пнувшими пару раз по порогу, не столько, чтоб стряхнуть снежное крошево, сколько машинально и для порядка, бойко перескакивают, подшитые, через порог, сквозь громко «зевнувшую» дверь, в густых клубах морозного воздуха.

Хозяин их сорвал было ушанку, да так и не швырнул её на лавку, поражённый увиденным. Жена его стояла перед ним, толстая и неуклюжая в зимнем одеянии и бережно поддерживаемая тёщей.

— Отвези меня, пожалуйста, Ислам. — робко прошептала мама и тут же со стоном закусил губу, сморщившись от резкого толчка под сердцем.

У отца оживления разом сгинуло с лица и тревожная озабоченность заметалась в глазах.

— Что, уже? — пробормотал он, растерянно затоптавшись на месте и вновь натягивая шапку.

Мне шесть лет, я бегу к отцу по узкой и длинной нашей комнате, а матовый светлый день в широком окне будто подталкивает меня в спину. С

разбега влепляюсь носом в отцовский ватник, чувствую его холодную шершавую ткань, а морозная армейская пуговица жжёт мне щеку. Я с удовольствием вдыхаю любимые запахи бензина и машинного масла, настоянных на морозе: в носу щекотно, а мне весело. Отец машинально ерошит мне волосы, но сейчас ему не до меня, он неотрывно смотрит на ма-му.

— Ради аллаха, дочка, ты ничего не бойся! Главное, спокойствие. Аллах даст, всё будет хорошо. — тараторила тем временем бабушка, поднимая воротник маминого пальто и нежно похлопывая дочь по спине. — А ты, сынок, отвези её и приезжай обедать.

— Да не успею уж...

— Приезжай, Ислам, приезжай.

Отец осторожно вёл маму к машине, а когда она остановилась нерешительно перед высокой подножкой, бросился к крыльцу, с силой рванул примёрзший к нему деревянный ящик, подставил ей под ноги, помог втиснуться в кабину и осторожно закрыл дверцу. Машина плавно тронулась, строго осознавая важность момента.

Две головы приникли к окошку, выходящему во двор: одна — седая, в белом платке. сокрушённо покачивающаяся, а другая — вертлявая и глупая голова ничего не понимающего, но любопытного мальчишки, поскучевшего вдруг от опустевшего и

затихшего дома. Давно уже выехала из ворот машина, а они всё не уходили от окна, и бабушка без конца повторяла одно и то же: «Эй, Алла, эй, Алла!» — вздыхая и меняя интонацию. А потом, наконец, отойдя от окна и уж из кухни громко произнесла: «Уф!», на что я немедленно отозвался вопросительно: «А?». Бабушка за дверью рассмеялась.

— Уфа, — говорила она, — Уфа! — и звонко, молодо хохотала.

— Дэу эни,¹ как это? — прибежал я к ней.

— А вот так: один сказал — Уф! Другой спросил — а? — и получилось — Уфа.

Бабушка вновь довольная рассмеялась, а я всё не понимал, приставал к ней.

— Ай тебя, сынок, ладно уж, слушай, — наконец сдалась она. — Есть такая легенда, я слышала её еще от своего отца. Жили-были два бабая. Были они бедные-бедные, старые-старые, но очень любопытные. Ну прямо, как ты, — осенило рассказчицу. Посмеиваясь прошла она к дивану, не спеша села.

— Жили они в своём ауле, жили, да однажды один бабай другому и говорит:

— Слушай, Габдулла-карт,² я вот всё думаю,

¹ Дэу-эни — бабушка (тат.)

куда это наша Агидель³ течёт? Течёт и течёт, а куда — один Аллах знает.

— И решили тогда старики, что надо это дело проверить: куда течёт река? Так и пошли они вниз по реке. Долго шли — три дня и три ночи. И дошли до высокой-высокой горы, что нависла над берегом. Сообразили старики, коль скоро заберутся на гору, то и увидят сверху, куда несёт свои воды большая река. А гора крутая-крутая, вскарабкаться на неё — стоило бабаям больших трудов. То и дело рисковали они сорваться с кручи, да видно, шептали они слова молитвы, раз Аллах не дал им такой напасти. Наконец, один из них, что был помоложе да пошустрее, добрался до самой вершины, сел на камень и громко выдохнул: «Уф-ф!». А другой не расслышал и тоже громко спрашивает снизу: «А?». Туговаты были на ухо бабаи. Вот эхо и разнесло: «Уф-ф-а-а-а!». Удивились старики, закричали радостно: «Уфа! Уфа!». А эхо мощно вторило: «Уфа-а-а!».

Понравилось бабаям на этой горе. Они даже забыли, зачем лезли сюда. Вернулись в свой аул и рассказали всем про эту чудесную гору. И

² Карт — дед, старик.

³ Агидель — река Белая.

захотелось людям увидеть её своими глазами. Весь аул пришёл к её подножью: и стар, и млад вскарабкались на вершину, да так тут и остались. Вот и появился на свете наш город Уфа — закончила бабушка и вновь посмеялась, радуясь хорошему концу своей легенды. И я тоже засмеялся и захлопал в ладоши: «Уфа! Уфа!».

Морщинки весело разбежались по белому лицу бабушки. Дэв-эни сбросила платок, встряхнула и вновь повязала по-старушечьи — двумя концами вниз. Такой она мне и запомнилась навсегда: весёлой, чистенькой, белолицей.

Вскоре в доме появилась моя маленькая сестрёнка, а бабушка навсегда исчезла из него в ту же зиму. Помню как холодным вечером пятьдесят третьего года, в комнату вошли мать с отцом. У мамы лицо заплаканное, а отец курит всё и молчит. Понял тогда, что бабушка моя умерла. Я не плакал, потому что не понимал ещё о смерти ничего. Только удивлялся: как это — бабушки больше никогда не будет?

Глава третья

Мальчик и думать забыл про свою банку, когда увидел это. Да и вы бы забыли, будь на его месте, Еще

бы! Не каждый день такое увидишь. Там в кустах, на самых корнях, лежал такой блестящий, прозрачный-прозрачный, отливающий яркой голубизной шар — не очень большой, но и не маленький, величиной с голубиное яйцо.

Юрка — нам давно уже пора назвать имя мальчика — сначала удивился: Как этот шарик сюда попал? Потом решил, что об этом у него еще будет время подумать, а сейчас... Правильно вы все поняли, Юрка так и сделал — взял шар и вылез из кустов.

— Мы приняли твой сигнал, YULA, что случилось? Как ты там оказалась?

— Не знаю. Очевидно, произошел какой-то сбой в моей капсуле. Она вышла из Спирали и аннигилировалась в пространстве. Я упала на странный объект, не нахожу аналога для его характеристики. Что-то твердое, из множества структур неправильной трубчатой формы и разных размеров...

— С тобой вечно что-то происходит, YULA, я не напрасно

возражал против твоего включения в экипаж. Подозреваю, что никакого сбоя капсула не дала. Скорее, ты сама вышла из Спирали по своей привычке интересоваться всем и вся. Ну да ладно, я сообщу в Директорию о ЧП. Будь на связи.

— Стойте! Новое событие. Ко мне движется странный объект — похоже, это Ното-Sapiensu есть. Только маленький. Видно, молодая особь. Ой, он заметил меня. Тянется ко мне. Он поднял меня...

Всего этого диалога Юрка, конечно, не слышал. И не потому что подошел позже, а просто и не смог бы услышать. Ведь общение шара с командиром экипажа шло телепатически. Представляете, что было бы, если бы Юра все это услышал? Спятил бы — факт! Впрочем, и без этого ему было чему удивляться. Шарик-то был действительно необычный. Мальчик держал его в ладони, испытывая ощущение теплоты и плотной тяжести, а, посмотрев через шарик на солнце, Юрка увидел такое чистое и яркое голубое свечение, что дух захватило... Он бережно опустил

шарик в карман и не стал даже шляться по парку, прошел мимо аттракционов и кафе с мороженым, и, более того, не заинтересовалсядохлой уткой под развалинами Аполлона, вышел из парка и быстро зашагал домой.

НОВОГЛЕБОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Встала, чтобы закрыть форточку. Дуло. Легла, но через минуту пошла в кухню, принесла сигареты, зажигалку, пепельницу. Снова легла. Вспомнила, что не выключила духовку.

— Да фиг-то с ней, с духовкой, — подумала она и открыла книгу. Тут заработал лифт. Прислушалась: остановился на ее этаже. Сорвалась, помчалась в прихожую:

— Это Герман!

Открыли у соседей. Вновь плюхнулась на диван, а когда позвонили в дверь, знала, что он, не открыла. Лифт «поехал» вниз. Заревела.

Бог знает, сколько ревела... Пошла в ванную, умылась, прошла на кухню, сварила себе кофе, с наслаждением выкурила сигарету. Зазвонил телефон.

— Где ты была? Я же только что...

— Нигде, дома.

— Почему не открыла?

— ???

— Ну, не захотела.

— Вот так, да?

— Но вы же понимаете, что так дальше...

— Девочка, не надо ничего говорить... Я сейчас приду к тебе.

— Нет, не надо, я прошу вас.

Но в трубке короткие гудки. «В сердцах» бросила эту штуку на рычаг, а

через минуту уже ждала его. Приглушила верхний свет, включила торшер, пододвинула тяжелое кресло к журнальному столику (как он любил), нарезала ломтики лимона, достала конфеты, наполнила джезву, засыпала свежий кофе. Немного помешкав, достала початую бутылку вина. Вздохнула обреченно. И добавила последний штрих: включила диск Алекса Сильвани.

Он вошел шумно, порывисто обнял ее, поцеловал. А она и сама не очень доверяла своим слабым протестам.

— Кофе убежит, — освободилась она, наконец, от его губ.

— Убежит. — Засмеялся Герман, но нехотя разжал свои объятия.

И они пили обжигающий псевдо по-турецки кофе, запивая его терпким полусладким вином. Он

уговорил ее сесть за инструмент и спеть что-нибудь Лобановского или Дольского, И она спела ему «Свечи» и «Мне звезда упала на ладошку». Незаметно увлеклась и сыграла ноктюрн Шопена. Он стоял у окна, курил и сочинял, вернее, импровизировал для нее тихие стихи: /Чуть тревожат ваши руки/ Белых клавишей тепло,/ Вот Шопен, ноктюрн, вот звуки/ В ночь летят через стекло./ Я гляжу из шторной сени,/ Как тоскливые, горя,/ Фонари свалили тени/ В тихий омут января./

А потом был другой омут, омут любви, сумасшедший полет в ночную бездну, где все ее «твердые» моральные принципы и сомнения улетучиваются куда-то, и не было ни сил, ни случая даже сказать себе, как Скарлет: «Я подумаю об этом завтра»⁴.

А «завтра» — у станции метро «Автово» ее ждал Сашка. Для начала, он повел ее в любимую пышечную, и ей было самой противно наблюдать за деланно веселой и беззаботной Настей, но Сашка был не дурак, видел все... Настасья стала другой.

— Странный он человек, — сказал Сашка, отпивая молочно-кофейную бурду.

⁴ Из романа Амер. писательницы Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

— Кто он?

— Перестань, Насть. Ты знаешь, о ком я.

— Почему странный?

— Как тебе объяснить? Здоровый, веселый мужик, нахальный, современный, без комплексов. Но вот глаза...

— А что глаза?

— Ты быстро спросила. Почему ты так быстро спросила? Впрочем, ладно. Глаза у него странные. Будто в них затаился какой-то недуг, может быть, еще и ему самому неизвестный, но он уже потихоньку точит, как червь.

— Какой еще недуг?

— Что, испугалась? А может быть, мне показалось.

— Тебе показалось.

— Из таких оптимистов со временем получаются жуткие ипохондрики.

— Ипохондрики — это кто?

— Типчики такие. Ненормальные — жуть. У них в душе — беспросветная ночь, хоть глаза выколи. И оттого свет белый видеть не вмоготу. Весь мир готовы разорвать. Злыдни, одним словом.

— Сам ты злыдень. Сам ипохондрик.

— Слушай, Насть, а чё ты его защищаешь? У тебя что-нибудь с ним было?

— Дурак ты!

— А больше сказать нечего?

— Ты, никак, ревнуешь?

— Тю-ю-ю! Было бы к кому. А если ты в него, того, втюрилась, то и бог с тобой. Намаешься с ним, вспомнишь Санечку... Думаешь, я не вижу? Глаза мажешь, тряпки меняешь... Не слепой, все вижу... Только нечего в прятки играть. Сказала бы честно.

— Сань, да ты что? — Настя хотела потрепать ему волосы. Сашка резко отшатнулся.

— Иди ты! Побереги свои ласки для него! — Бросил на стол деньги и вышел из пышечной.

— Ну вот и все, — подумала она и не понимала еще — рада она тому, что так легко кончилось или нет. Тем не менее, она спокойно доела пышки, расплатилась и пошла на остановку.

И только когда Анастасия вышла из автобуса у своего дома, ей стало грустно. Она шла через заброшенный яблоневый сад и вдруг ощутила себя такой же брошенной. Сашка, ее милый Сашка, ее вечный Санчо Панса еще со школьной скамьи, покинул ее. А ведь видел-то он Германа всего один раз на вечеринке в честь ее дня рождения, и, поди ж ты, понял все, хотя тогда еще между Германом и ею ничего не было. Так, взаимная симпатия.

А вот курить Юльке врачами было категорически запрещено, но она брала сигарету всякий раз, когда Герман уходил на работу. А с

недавних пор особенно жадно затягивалась, чтобы унять боль. О том, что у Германа появилась другая женщина, догадалась сразу. Муж никогда ничего от нее не умел скрыть. Тем более, сейчас, когда болезнь вынудила ее уйти с работы, она видела, как неузнаваемо он изменился. Дело не только в поздних задержках на работе, просто в самом его поведении, в отсутствующем взгляде, забывчивости, вдруг в нем проявившейся. Даже уходя на работу, он не всегда теперь целовал ее... Не составляло никакого труда узнать, кто ее соперница, конечно же, коллега по работе. не тот человек Герман, чтобы искать любовницу на стороне. Но то, что он — человек увлекающийся, мог влюбиться без «отрыва от производства» — это запросто. «Сходить что ли к этой Ирке?» — спросила она себя, выбрасывая сигарету в форточку.

Герману позвонили на работу из «Бехтеревки».

— Я специально звоню вам на службу, Герман Михайлович, — говорил глуховатым голосом нейрохирург Александр Шпальский. — Нельзя, чтобы Юлия это знала. Мы закончили комплексное обследование. Всего по телефону говорить не буду, но, к сожалению, результаты неважные. Очевидно, оперативное вмешательство неизбежно. Словом,

вам надо приехать ко мне. Я все объясню.

Шпальский давно повесил трубку, а Герман все прижимал ее к уху, словно надеялся услышать еще что-то.

А, впрочем, ни на что он не надеялся. Он просто был в шоке.

Ах, если бы это не было реальностью? Почему в этой чудесной жизни так много ничем неоправданного зла? И почему все это произошло с его Юлькой? С его первой женщиной?

Со школьной подругой, ведь все у них началось еще в школе. Шпальский сказал ему страшную вещь: возраст опухоли составляет семнадцать лет. Выходит, когда они только начали встречаться в шестнадцать лет эта злополучная опухоль уже родилась и все эти годы жила и росла в ней. В школе, в институте, на работе, в загранкомандировках, когда зачала, вынашивала и родила ребенка... А он? Что же такое вытворяет он? Теперь, когда Юльке как никогда нужны постоянно его забота и внимание? Его любовь?

*Как это было? Прекрасно
и юно!*

*нет уж на свете девочки
Юльки.*

Прокараулил, прокараулил.

*«Кинзмараули»,
«Кинзмараули».*

*Помнишь? — Волшебная
наша поездка!*

*«Маячила» армия, пришла
повестка.*

*Мы оказались с Юлькой в
Казани,*

*«Татарская кухня» —
обед в ресторане.*

*Не знал он вина, сигареты
и женщин,*